

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Писемский

Тюфяк

«Public Domain»

1850

Писемский А. Ф.

Тюфяк / А. Ф. Писемский — «Public Domain», 1850

«Однажды – это было в конце августа – Перепетуя Петровна уже очень давно наслаждалась послеобеденным сном. В спальне было темно, как в закупоренной бочке. Средство это употреблялось ради спасения от мух, необыкновенно злых в этом месяце. Часу в шестом Перепетуя Петровна проснулась и пробыла несколько минут в том состоянии, когда человек не знает еще хорошенько, проснулся он или нет, а потом старалась припомнить, день был это или ночь; одним словом, она заспалась, что, как известно, часто случается с здоровыми людьми, легшими после сытного обеда успокоить свое бренное тело...»

© Писемский А. Ф., 1850

© Public Domain, 1850

Содержание

I	5
II	10
III	15
IV	19
V	25
VI	29
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Алексей Феофилактович Писемский

Тюфяк

Повесть

Семейные дела судить очень трудно, и даже невозможно!
Местная поговорка

I

Родственница

Однажды – это было в конце августа – Перепетуя Петровна уже очень давно наслаждалась послеобеденным сном. В спальне было темно, как в закупоренной бочке. Средство это употреблялось ради спасения от мух, необыкновенно злых в этом месяце. Часу в шестом Перепетуя Петровна проснулась и пробыла несколько минут в том состоянии, когда человек не знает еще хорошенько, проснулся он или нет, а потом старалась припомнить, день был это или ночь; одним словом, она заспалась, что, как известно, часто случается с здоровыми людьми, легшими после сытного обеда успокоить свое бременное тело. Это полусознательное состояние Перепетуи Петровны было прервано приходом горничной девки со свечою.

– Палашка! Это ты? – сказала барыня, жмуря глаза, которым, видно, было неприятно ощущение света.

– Я, матушка.

– Что тебе?

– Феокиста Саввишна приехали.

– Что же ты, дура, давно мне не скажешь, – проговорила Перепетуя Петровна, вставая проворно с постели, насколько может проворно встать женщина лет около пятидесяти и пудов шести веса, а потом, надев перед зеркалом траурный тюлевый чепец, с печальным лицом, медленным шагом вышла в гостиную. Гостья и хозяйка молча поцеловались и уселись на диване.

– Я, в моем горестном положении, – сказала печальным тоном Перепетуя Петровна, – сижу больше там, у себя, даже с закрытыми окнами: как-то при свете-то еще грустнее.

– Что мудреного, что мудреного! – повторяла гостья тоже плачевным голосом, покачивая головою. – Впрочем, я вам откровенно скажу, бога ради, не убивайте вы себя так... Конечно, несчастье велико: в одно время, что называется, умер зять и с сестрою паралич; но, Перепетуя Петровна, нужна покорность... Что делать! Ведь уж не поможешь. Я, признаться сказать, таки нарочно приехала проведать, как и вас-то бог милует; полноте... берегите свое-то здоровье – не молоденькие, матушка.

Перепетуя Петровна ничего не отвечала на эти утешительные слова; но с половины монолога начала рыдать, закрыв лицо носовым платком. Этот обычный прием плачущих был весьма кстати для Перепетуи Петровны, потому что выражение лица ее в эту горькую минуту очень было некрасиво; слезы как-то не шли к ее полной, отчасти грубоватой и лишенной всякого выражения физиономии. Феокиста Саввишна, тождественная своею наружностью и весом тела Перепетуге Петровне, смотрела на нее несколько минут с участием, а потом и сама принялась плакать.

– Я видеть ее не могу, мою голубушку, – проговорила, наконец, Перепетуя Петровна, всхлипывая, – представить ее даже не могу.

– Это-то и дурно, Перепетуя Петровна, – перебила утешительница, – ну, зять, конечно, уж не воротишь, человек мертвый; а сестрица, вот вам как бог свят, выздоровеет. У меня покойник два раза был в параличе, все лицо было сворочено на сторону, да прошло; это ведь проходит.

– Нет, матушка! – говорила Перепетуя Петровна. – Я уже советовалась о ней с Карлом Ивановичем – с ней не пройдет. Ох, господи! Грудь даже начала болеть; никогда прежде этого не бывало; он говорит, у ней началось с помешательства, с гипохондри.

– Что ж такое гипохондрия! Ничего! – возразила Феоктиста Саввишна. – Да вот недалеко пример – Басунов, Саши, племянницы моей, муж, целый год был в гипохондри, однако прошла; теперь здоров совершенно. Что же после открылось? Его беспокоило, что имение было в залоге; жена глядела, глядела, видит, делать нечего, заложила свою деревню, а его-то выкупила, и прошло.

– Как странно, однако, это случилось! – начала Перепетуя Петровна. – Она сначала, как умер Василий Петрович... ничего... Конечно, грустила, только слез как-то не было: не плакала... Ну, без сомнения, я каждый день то сама, то посылаю; не поверите, все ночи не сплю, не знаю, как и самое-то бог подкрепляет; вот, сударыня моя, накануне троицына дня приходит ее Марфутка-ключница и говорит мне: «Что это, говорит, матушка, у нас барыня-то все задумывается?» А я и говорю: «Как же, я говорю, не задумываться; это по-вашему ничего, кто бы ни умер, мать ли, муж ли – все равно». А она мне на это и говорит (она, даром что простая, умная этакая, сметливая, славная женщина): «Нет, говорит, матушка, барыня-то что-то очень сумнительна: все нас изволят высылать вон и все перебирает письма Василья Петровича да Павла Васильича, а вчера как будто бы и заговариваться стала: говорит, а что – и понять невозможно». Я так и не опомнилась! Ох, боже мой! Рассказывать даже тяжело. Как сидела вот на этом диване, так руки и ноги охолодели; ничего не помню!.. В беспамятстве меня одели, снарядили, привезли к ней, и вижу: паралич во всей; кажется, и меня даже не узнала.

Перепетуя Петровна замолчала и вздохнула; Феоктиста Саввишна тоже сидела задумавшись.

– Да, вот, можно сказать, истинное-то несчастье, – начала последняя, – непритворное-то чувство! Видно, что было тяжело перенести эту потерю; я знаю это по себе. Ах, как это тяжело! Вот уж, можно сказать, что потеря мужа ни с чем не может сравниться! Кто ближе его? Никто! Друг, что называется, на всю жизнь человеческую. Где дети-то Анны Петровны?

– Лиза писала, что приедет и с мужем сюда совсем на житье; а Паша уж месяца с три как приехал из Москвы; он, слава богу, все ихные там экзамены кончил хорошо; в наверситете ведь он был.

– Это я слышала. Что-то он, бедненький? Его-то положение ужасно: он был, как говорится, маменькин сынок.

Перепетуя Петровна вздохнула.

– Что он? Ничего... мужчина! У них, знаете, как-то чувств-то таких нет... А уж он и особенно, всегда был такой неласковый. Ну, вот хоть ко мне: я ему, недалеко считать, родная тетка; ведь никогда, сударыня моя, не придет; чтобы так приласкался, поговорил бы, посоветовался, рассказал бы что-нибудь – никогда! Придет, сидит да ногой болтает, согрешила грешная. Я с вами, Феоктиста Саввишна, говорю откровенно...

– Эй, полноте, Перепетуя Петровна, – перебила Феоктиста Саввишна, – вы, я думаю, знаете: я не болтушка какая-нибудь; слава богу, десятый год живу здесь, а никогда, можно сказать, ни в одной скандалезности не была замешана.

– Потому-то я с вами и говорю. Грустно этак на сердце-то носить, особенно семейные неприятности, – продолжала Перепетуя Петровна. – Ох, боже мой! Опять забыла, о чем начала?..

– О Павле Васильиче.

– Да, о Паше. Конечно, я хоть и родная тетка, а всегда скажу: он не картежник, не мот какой-нибудь, не пьяница – этого ничего нет; да ученья-то в нем как-то не видно, а уж его ли, кажется, не учили? Шесть лет в гимназии сидел да в Москве лет пять был; ну вот хоть и теперь, беспрестанно все читает, да только толку-то не видать: ни этакое, знаете, обращения, ловкости этакой в обществе, как у других молодых людей, или этаких умных, солидных разговоров – ничего нет! Леность непомерная, моциону никакого не имеет: целые дни сидит да лежит... тюфяк, совершенный тюфяк! Я еще его маленького прозвала тюфяком.

– Что это за странность? Стало быть, он и в военную службу не пойдет?

– Какой он военный? Сама сестра тут виновата; конечно, уж теперь про нее говорить нечего... человек больной... не внушала ему никогда, надзору настоящего не было: «Паша! Паша!» – и больше ничего; что Паша ни делай, все хорошо. Паша не выходит при гостях в гостиную и сидит там у себя... Прекрасно, батюшка: бегай хорошего общества!.. Отдали танцевать учиться, через месяц пришел: «Я не хочу, маменька, учиться танцевать, я не способен!» Какая тут способность? Всякий молодой человек способен! – И то прекрасно: не учись, сынок, будь медведем. А опять хоть бы за столом... у меня всегда, бывало, ссора: черного хлеба совершенно не ест, а теперь вот на здоровье жалуется... Ему, бывало, очень не по нутру, как я приеду; я ведь не люблю, беспрестанно замечаю: «Паша, сиди хорошенько, Паша, будь поразвязнее, поди умой руки!», ну и получше, поисправится... как быть дворянский мальчик. Сестра – добрая женщина, а мать была слабая. Говорят, в собственных детях нельзя видеть недостаток; пустое: будь у меня дети, я бы первая все видела! Вот Лиза совсем не то; как была отдана с малолетства в чужие люди, так и вышла другая! Ее еще четырех лет увезла сестра Василия Петровича, классная дама... ну, а как сюда приехала, манеры-то тоже очень начала терять. Хорошо, что я же нашла жениха, а то, пожалуй, и теперь бы сидела в девках... никто бы и не заметил. Ну, сначала было все хорошо, очень были рады, что выходит замуж, а после на меня же была претензия; Василий Петрович часто говаривал: «Бог с вами, сестрица, спровадили от нас Лизу за тридевять земель, жила бы лучше поближе к нам; зять – человек неизвестный, бог знает как и живет». Что же вышло? Человек прекрасный, каждую почту пишет ко мне преласковые письма: «Почтеннейшая тетушка!» и потом все так умно излагает. Очень, очень неглупый человек.

В продолжение всей этой речи Феоктиста Саввишна качала головой и по временам вздыхала.

– Сколько у вас неприятностей-то было, Перепетуя Петровна, – начала она после непродолжительного молчания, – особенно зная вашу родственную-то любовь... Как ведь это грустно, когда видишь, что делается не так, как бы хотелось.

– Что делать, Феоктиста Саввишна! Вся жизнь моя, можно сказать, прошла в горестях: в молодых годах жила с больным отцом, шесть лет в церкви божией не бывала, ходила за ним, что называется, денно и ночью, никогда не роптала; только, бывало, и удовольствия, что съезжу в ряды да нарядов себе накуплю: наряжаться любила... Говорили после, что я вдвое больше получила против сестры... пустое! Дело уж прошлое: лишней копейки нет на моей совести. А и теперь, для чего я живу? Племянники не родные дети; нынче и на родных-то детей нельзя положиться; и в них иногда нет утешения.

– Именно так, именно... – подтверждала Феоктиста Саввишна.

Разговор еще несколько времени продолжался на ту же тему. Наконец Феоктиста Саввишна начала прощаться. Перепетуя Петровна умоляла ее пробыть вместе с нею вечер; но Феоктиста Саввишна решительно отказалась: она почувствовала непреодолимое желание передать в одном дружественном для нее доме все, что она узнала от Перепетуи Петровны насчет ее семейных неприятностей. Хозяйка, видя невозможность оставить у себя свою гостью на вечер, решила сама, от нечего делать, исполнить священный долг и навестить свою больную сестру. Таким образом, обе дамы сошли вместе с крыльца и расселись по своим экипажам.

Феоктиста Саввишна... но здесь я должен несколько остановиться и обратить внимание читателя на дружественный для нее дом. Дом этот состоял из отца, матери и двух дочерей и принадлежал к высшему губернскому кругу. Владимир Андреич Кураев был представитель и родоначальник его. Жил он открыто и был человек в обществе видный, резкий немного на язык, любил порезонерствовать и владел даром слова; наружность имел он очень внушительную, солидную и даже несколько строгую. Говорили в городе, что будто бы он был немного деспот в своем семействе, что у него все домашние плясали по его дудке и что его властолюбие прорывалось даже иногда при посторонних, несмотря на то, что он, видимо, стараясь дать жене вес в обществе, называл ее всегда по имени и отчеству, то есть Марьей Ивановной, относился часто к ней за советами и спрашивал ее мнения, говоря таким образом: «Как вы думаете, Марья Ивановна? – Что вы на это скажете, Марья Ивановна?» Покупая какую-нибудь вещь в лавках, он обыкновенно говорил приказчику: «Принеси, братец, на дом, я посоветуюсь с Марьей Ивановной!» Вещь приносили, и Владимир Андреич оставлял ее за собою в долг. Что касается до Марьи Ивановны, то это было какое-то существо совершенно безличное, и она служила только слабым отражением своего супруга: что бы она вам ни говорила, вы непременно это слышали, за несколько дней, от Владимира Андреича. Были слухи, будто бы Марья Ивановна говорила иногда и от себя, высказывала иногда и личные свои мнения, так, например, жаловалась на Владимира Андреича, говорила, что он решительно ни в чем не дает ей воли, а все потому, что взял ее без состояния, что он человек хитрый и хорош только при людях; на дочерей своих она тоже жаловалась, особенно на старшую, которая, по ее словам, только и боялась отца. В обществе Марья Ивановна слыла за женщину недалнюю, но добрую и решительно не сплетницу. Две дочери их, Юлия и Надежда, были первые красавицы во всем городе, или по крайней мере так убеждены были их родители. Стоявшие в этом городе армейские офицеры старшую прозвали гордою брюнеткой, а младшую – резвою блондинкой. Брюнетка была похожа на отца и вела себя в обществе скромно и даже несколько гордо; дома же, особенно у себя в комнате, была гораздо говорливее, давала своей горничной беспрестанные нотации за различные опущения по туалету. Блондинка была одинакова как в обществе, так и у себя в комнате, то есть немного ссора и необдуманна; с девками больше смеялась, никогда не давала им наставлений и очень скоро одевалась на балы. О состоянии Кураевых носились какие-то двусмысленные слухи. По моему мнению, судя по их образу жизни, прямо бы надобно было заключить, что они богаты; но нашлись подозрительные умы, которые будто бы очень хорошо знали, что у Кураевых всего 150 мотаных и промотанных душ, что денег ни гроша и что хотя Владимир Андреич и рассказывал, что он очень часто получает наследства, но живет он, по словам тех же подозрительных умов, не совсем благородными аферами, начиная с займа, где только можно, и кончая обдыванием разного рода маленьких подрядцев. Вот что говорили подозрительные умы.

Феоктиста Саввишна, несмотря на то, что могла быть отнесена к вышеозначенным подозрительным умам, являлась и теперь явилась в дружественный для нее дом с почтением, похожим даже несколько на подобострастие. Хозяйке и барышням раскланялась она жеманно, свернув несколько голову набок, а Владимиру Андреичу, видно для выражения своего почтения, присела ниже, чем прочим. Усевшись, она тотчас же начала рассказывать, что вчера на обеде у Жустковых Махмурова наговорила за мужа больших дерзостей Подслеповой, что Бахтиаров купил еще лошадь у ее двоюродного брата, что какой-то Августин Августиныч третий месяц страдает насморком и что эта несносная болезнь заставляет его, несмотря на твердый характер, даже плакать. Владимир Андреич сидел, развалившись в креслах, и решительно не обращал внимания на рассказы Феоктисты Саввишны; барышни также мало ею занимались: они в это время от нечего делать рассматривали модную картинку и потихоньку растолковывали ее друг другу. «Это, должно быть, тюлевая пелеринка», – говорила одна. «Нет, та chere, это блондовая», и тому подобное. Слушала Феоктисту Саввишну одна только Марья Ивановна, но и та скоро вышла к себе в комнату.

– Чем это вы, Юлия Владимировна, занимаетесь? – отнеслась Феоктиста Саввишна к девушкам.

– Смотрим, – отвечала брюнетка.

– Что это такое смотрите?

– Картинку из журнала.

Феоктиста Саввишна пододвинулась к барышням.

– Что же это такое? Моды?

– Моды.

– Нынешние?

– Нынешние.

– Нынче наряжайтесь, барышни, наряднее: у вас зимой будет новый кавалер.

– Их всегда много, – отвечала с гримасою брюнетка.

– Кто такой? – спросила блондинка.

– Ловкий... красавец из себя... богатый.

– Кто же это такой? – проговорил Владимир Андреич.

– Василья Петровича Бешметева сын; чай, изволите знать?

– Знаю. Да откуда же ему богатство-то досталось?

– Я ведь смеюсь. Месяц только и танцевать-то учился: молодой еще человек, только просто медведь; сидит да ногой болтает; и родные-то тюфяком зовут. Не больно, кажется, и умен; говорить решительно ничего не умеет.

– Жалкий какой! – заметила брюнетка.

– А собой хорош? – спросила блондинка.

– Не так красив: волосы взъерошенные, руки неумытые.

– Фи, гадость какая! Хочется вам это рассказывать, – произнесла брюнетка.

– За что же его зовут тюфяком? – спросила блондинка.

– Очень уж неловок, не развязен, – отвечала Феоктиста Саввишна.

– Как это смешно! Тюфяк! – продолжала блондинка. – Я непременно пойду с ним танцевать; я очень люблю танцевать с этими несчастными.

– Вот этого-то тебе и не позволят сделать, – возразил Владимир Андреич. – Я уж заметил, что ты всегда с дрянью танцуешь. А отчего? Оттого, что все готово! Как бы своя ноша потянула, так бы и знала, с кем танцевать; да! – заключил он выразительно и вышел.

Блондинка покраснела.

На другой день Феоктиста Саввишна на крестинах у своего двоюродного брата, у которого Бахтиаров купил лошадь, рассказала, что Перепетуя Петровна до сих пор все еще плачет по зяте и очень недовольна приехавшим из Москвы племянником, потому что он вышел человек грубый, без всякого обращения, решительно тюфяк. На этот ее рассказ по преимуществу обратили внимание: рябая дама, знакомая Перепетуи Петровны, и какой-то мозглый старичок, пользовавшийся, по его словам, расположением Анны Петровны. А дней через несколько с помощью Феоктисты Саввишны и исчисленных мною особ многие, очень многие узнали, что после покойного Бешметева приехал сын, ужасный чудака, неловкий, да, кажется, и недалкий – просто тюфяк.

II

Брат, сестра и тетка

Между тем как таким образом разносился слух о молодом Бешметеве, он сидел, задумавшись, в своей комнате. Невдалеке от него помещалась молодая женщина: это была его сестра, Лиза, как называла ее Перепетуя Петровна. Бешметев действительно никаким образом не мог быть отнесен по своей наружности к красивым и статным мужчинам: среднего роста, но широкий в плечах, с впалой грудью и с большими руками, он подлинно был, как выражаются дамы, очень дурно сложен и даже неуклюж; в движениях его обнаруживалась какая-то вялость и неповоротливость; но если бы вы стали всматриваться в его широкое бледное и неправильное лицо, в его большие голубые глаза, то постепенно стали бы открывать что-то такое, что вам понравилось бы, очень понравилось. Говорят, что это – оттенки мысли и чувств, которые в иных лицах не дают себя заметить при первом взгляде. Белые волосы его не были взъерошены, как говорила Феоктиста Саввишна, но, умеренно подстриженные, они, конечно, лежали, как им хотелось, что, впрочем, очень шло к его бледному и большому лбу; одет он был небрежно.

Совершенно другой наружности была Лизавета Васильевна: высокая ростом, с умным, выразительным лицом, с роскошными волосами, которые живописно собирались сзади в одну темную косу, она была почти красавица в сравнении с братом. В одежде ее заметны были вкус и опрятность, что, как известно, дается в удел не многим губернским барыням. В выражении лица молодой женщины высказывалось что-то грустное, почему она и казалась как бы старше двадцати пяти лет, которые прожила на белом свете. Брат и сестра сидели, задумавшись; глаза Лизаветы Васильевны были заплаканы. Они только вышли от больной матери. Старуха была разбита параличом, отнявшим у нее движение и язык и затмившим почти совершенно умственные способности; она помнила и узнавала одного только Павла. Большею частью она была в беспамятстве, а пришедши в себя, то истерически смеялась, то плакала. Лизавету Васильевну она совершенно не узнала: напрасно Павел старался ей напомнить о сестре, которая с своей стороны начала было рассказывать о детях, о муже: старуха ничего не понимала и только, взглядывая на Павла, улыбалась ему и как бы силилась что-то сказать; а через несколько минут пришла в беспамятство.

Павел, получивший от медика приказание не беспокоить мать в подобном состоянии, позвал сестру, и оба они уселись в гостиной. Долго не вязался между ними разговор: они так давно не видались, у них было так много горя, что слово как бы не давалось им для выражения того, что совершалось в эти минуты в их сердцах; они только молча менялись ласковыми взглядами.

– Как мы с тобой давно не видались, Поль! – начала наконец Лизавета Васильевна.

– Давно, Лиза.

– Переменилась я с тех пор?

– Очень переменилась.

– У меня двое детей; старший сын ужасно похож на тебя.

– А муж твой, Лиза?

– Муж у меня, братец... он немного ветрен; но, впрочем, добрый человек и, кажется, любит меня.

– Зачем же ты за него вышла? – спросил Павел, глядя на сестру.

– Богу так угодно! Нас сосватала тетушка: она уговорила батюшку и матушку, насаказавши им о бесчисленном богатстве моего мужа.

– И что ж? Это вышло правда?

– Правда, – отвечала с горькою улыбкою молодая женщина.

– Помнишь, что ты мне говорила?

– Что я тебе говорила?

– Что ты...

Молодая женщина улыбнулась.

– Это давно уж прошло, – отвечала она, вспыхнув.

– Тебя не уговаривали выйти за другого?

– Нет, Поль, я сама первая согласилась, – отвечала молодая женщина.

– Не может быть!

– Отчего ж не может быть?.. Но, впрочем, перестанем говорить об этом, Поль... Это была глупость и больше ничего.

– А я на днях еще встретил Бахтиарова.

Лизавета Васильевна вдруг побледнела.

– Разве он здесь? – спросила она, стараясь скрыть внутреннее волнение; но голос ее дрожал, губы слегка посинели...

Павел молчал и только внимательно посмотрел на сестру.

– Лучше поговорим о тебе, – начала Лизавета Васильевна, стараясь переменить предмет разговора. – Что ты с собой хочешь делать?

Этот вопрос, в свою очередь, смутил Павла.

– Не знаю, – отвечал он после минутного молчания.

– Ты думаешь здесь служить?

– Нет.

– Так, стало быть, ты хочешь уехать, опять с нами расстаться надолго?

– Да мне надобно бы было ехать.

– Но матушка? Как ты ее оставишь?

Павел задумался.

– Мое положение, – начал он, – очень неприятно... Я думал непременно ехать.

– Поживи, братец, с нами.

– Нельзя, Лиза, мне бы хотелось поподготовить себя и выдержать на магистра.

– Ну, а потом что?

– А потом... потом может быть очень хорошо... это лучшая для меня дорога.

– Так поезжай.

– А матушка?..

Лизавета Васильевна несколько минут ничего не отвечала.

– Ей, может быть, сделается лучше, – начала она, – и ты поедешь; она тоже к тебе приедет.

Разговор этот был прерван приездом Перепетуи Петровны.

– Лизанька! Друг мой! Ты ли это? – вскрикнула она, почти вбежавши в комнату, и бросилась обнимать племянницу; затем следовало с полдюжины поцелуев; потом радостные слезы.

– Давно ли ты, милушка моя, приехала? – говорила тетка, несколько успокоившись и усаживаясь на диване.

– Сегодня утром.

– Ну, слава богу, слава богу! Что сестричушка-то? Я и не спросила об ней.

– Матушка заснула, – отвечал Павел.

– Ну, слава богу, слава богу! Пусть ее поживает. Здравствуй, Паша. Я тебя-то и не заметила; подвинь-ка мне скамеечку под ноги; этакий какой неловкий – никогда не заметит. – Павел подал скамейку. – Погляди-ка на меня, дружочек мой, – продолжала Перепетуя Петровна, обращаясь к племяннице, – как ты похорошела, пополнела. Видно, мать моя, не в загоне живешь? Не с прибылью ли уж? Ну, что муженек-то твой? Я его, голубчика, уж давно не видала.

– Он дома остался; слава богу, здоров, – отвечала Лизавета Васильевна, целуя у тетки руку.

Перепетуя Петровна больше любила племянницу, чем племянника, потому что та была к ней ласковее.

– Что деточки-то твои? Михайло Николаич писал, что они просто милашки.

– Я завтра их привезу к вам, тетушка.

– Непременно привези! Смотри же, одна и не ездь! Паша, полно сидеть букой-то; подвинься, батюшка, к нам, поговори хоть с сестрой-то; ведь, я думаю, лет пять не видались?

– Мы с ним уж, тетушка, наговорились и наплакались.

– Счастье твое, мать моя! А со мной – так он не больно говорлив. О чем это с тобою-то говорил?

– Рассказывал свои обстоятельства.

– Мне никогда ни слова не говорил. Какие же его обстоятельства? Да скажи, батюшка, хоть что-нибудь. Что ты скрываешь? Что, я тебе чужая, что ли? Зла, что ли, я тебе желаю? Я, кажется, ничего тебе не показывала, кроме моего расположения: грех тебе, Паша! Какие же это обстоятельства?

– Сестра вам лучше расскажет; она знает все, – отвечал Павел, с величайшим терпением выслушивавший претензии тетки.

– Какие же обстоятельства? – спросила снова любопытная Перепетуя Петровна, уже обращаясь к племяннице.

– Вот видите, тетушка, брату нужно ехать в Москву.

– Это зачем? – почти вскрикнула Перепетуя Петровна.

– Ему надобно выдержать на магистра.

– Что же это, должность, что ли, какая?

– Все равно что должность, – отвечал Павел.

– А жалованье велико ли?

– Жалованья нет.

– Так какая же это должность? Эдаких-то должностей и здесь много. Как же ты мать-то оставишь?

– Это-то меня и беспокоит, тетушка.

– Отчего ты не хочешь здесь служить? Не хуже тебя служит Федосья Парфентьевны сын; уж именно, можно сказать, прекрасный молодой человек, с обращением: по-французски так и режет; да ведь служит же; скоро, говорят, чин получит; а тебе отчего не служить? Ты вспомни мать-то свою, чем она для тебя ни жертвовала? Здоровья своего, что называется, не щадила; немало с тобой возилась, не молоденькая была; а тебе не хочется остаться успокоить ее в последние, что называется, минуты. Лиза... конечно! Ну, да что же делать? Она ту меньше любила, да ведь она уж и отрезанный ломоть: у нее свои обязанности, свое семейство: иной бы раз и рада угодить матери, да не может, впору и мужу угождать да тешить его, а ты свободный человек, мужчина! Нет, сударь, не следует; за это бог тебе всю жизнь не даст счастья! Нечего супиться-то, я правду говорю.

– Все это хорошо... и я сам знаю, тетушка, – возразил Павел.

– Нет, видно, не знаешь, коли хочешь делать другое.

– Я думаю ехать, если матушка сама мне это позволит, а после и ее к себе перевезти.

Перепетуя Петровна при этих словах покраснела, как вареный рак.

– Нет уж, Павел Васильич, извините, – начала она неприятно звонким голосом, – этого-то мы никак не допустим сделать: да я первая не позволю увести от меня больную сестру; чем же ты нас-то после этого считаешь? Чужая, что ли, она нам? Она так же близка нашему сердцу, может быть, ближе, чем тебе; ты умница, я вижу: отдай ему мать таскать там с собой, чтобы какой-нибудь дряни, согрешила грешная, отдал под начал.

– Тетушка! – начал было Павел.

– Не смейте, сударь, этого и думать! – возразила Перепетуя Петровна. – Она, конечно, человек больной... пожалуй, он это сделает, увезет ее... Да вот, дай господи мне на этом месте не усидеть: я первая до начальства пойду, ей-богу! Губернатору просьбу подам...

– Успокойтесь, тетушка! – сказала Лизавета Васильевна.

– Что это, сударыня, как это возможно? Вишь какой финти-фант! Пожалуй, гляди ему в зубы-то... Пусть один едет, уморит ее: по крайней мере на совести-то у нас не будет лежать. Ему, я думаю, давно хочется ее спровадить.

Павел весь вспыхнул...

– Бог с вами, тетушка! – проговорил он и ушел к себе в комнату.

Больная в это время простонала.

– Матушка-то моя простонала, – заговорила вдруг совершенно другим голосом Перепетуя Петровна и вошла в спальню к сестре. – Здравствуй, голубушка! Поздравляю тебя с радостью; вот у тебя обе твои птички под крылышками. О голубушка моя! Какая она сегодня свежая; дай ручку поцеловать.

При этих словах Перепетуя Петровна поцеловала у сестры руку.

– Позови, матушка, Павла-то сюда, – прибавила она, обращаясь к племяннице.

Лизавета Васильевна пошла за братом. Павел стоял, приклонясь к окну; слезы, неведомо для него самого, текли по его щекам.

– Братец! Пойдем к матушке, – сказала тихо Лизавета Васильевна.

Павел, как бы пробудившись от сна, вздрогнул; потом, увидев, что это была сестра, обнял ее, крепко поцеловал, утер слезы и пошел к матери.

– Вот тебе и Паша! Подойди к матери-то, приласкайся, – говорила Перепетуя Петровна, усевшаяся на кровати рядом с сестрою.

Больная, не обращая внимания на ее слова, взяла сына за руку и начала глядеть на него.

– Будь спокойна, матушка-сестрица, он не поедет, – заговорила Перепетуя Петровна, – как ему ехать? Он не может этого и подумать; его бог накажет за это.

На глазах старухи показались слезы.

– Не уедет, матушка, ей-богу, не уедет! Как это возможно? Мы все его не отпустим. Скажи, сударь, сам-то, что не поедешь. Что молчишь?

Больная сначала расхохоталась, потом перешла к слезам и начала рыдать.

– Что это, Павел Васильич! – вскрикнула Перепетуя Петровна, вышед из себя. – До чего ты доводишь мать-то? Бесстыдник этакий! Бога не боишься!

– Поль! Успокой маменьку, – сказала Лизавета Васильевна брату.

– Я не поеду, матушка, – проговорил, наконец, Павел.

Но старуха не унималась и продолжала плакать.

– Я не уеду, матушка, я всю жизнь буду при вас, – говорил он, целуя мать.

Лизавета Васильевна и Перепетуя Петровна плакали; последняя даже рыдала очень громко, приговаривая:

– Давно бы так, сударь, что это за неблагодарность такая, за нечувствительность?

Еще с полчаса продолжалась эта сцена. Наконец, больная успокоилась и заснула. Тетка уехала вместе с Лизаветой Васильевной, за которой муж прислал лошадей, а Павел ушел в свою комнату.

– Господи! Что мне делать? – сказал он, всплеснув руками, и бросился на постель.

Целый час почти пролежал он, не изменив положения; потом встал и, казалось, был в сильном волнении: руки его дрожали; в лице, обычно задумчивом и спокойном, появилось какое-то странное выражение, как бы все мышцы лица были в движении, темные глаза его горели лихорадочным блеском. Он начал разбирать свои бумаги и, отложив из них небольшую часть в сторону, принялся остальные рвать. Через несколько минут все мудрые рукописи, как-то: лекции, комментарии, конспекты, сочинения, были перерваны на несколько кусков. Павел

принялся было и за книги, но корешковые переплеты устояли против его рук, и он удовольствовался только тем, что подложил их к печке, видно, с намерением сжечь их на другой день. Этот энергический припадок, кажется, был не в духе Павла: он, видно, не был похож на тех горячих людей, которые, рассердившись, кричат, колотят стекла, часто бьют своих лакеев и даже жен, если таковые имеются, а потом, через четверть часа, преспокойно курят трубку. Мой студент после варварского поступка с своими тетрадями упал в изнеможении на постель; в полночь, однако, он встал и, кажется, несколько успокоился, потому что бережно начал собирать разорванные бумаги и переложил книги от печки на прежнее место. Заснул он, впрочем, уж утром.

III

Михайло Николаич Масуров

На другой день, часу в первом пополудни, Михайло Николаич Масуров, муж Лизаветы Васильевны, стоял у себя на дворе, в шелковом казакине, в широких шароварах, без шапки, с трубкою в зубах и с хлыстом в руке. Перед ним гоняли на корде лошадь, приведенную ему для продажи цыганам. Масуров имел курчавые волосы, здоровое, смазливое лицо и довольно красивые усы. Его шелковый казакин, его широкие шаровары, даже хлыст в руке и трубка в зубах очень шли к его наружности: во фраке или сюртуке он был бы, кажется, гораздо хуже.

Цыган нахваливал лошадь, а Масуров, как знаток, находил в ней недостатки.

– Смотри, барин, – говорил цыган, – передние-то ноги как несет! Корабли пройдут.

– Передние-то хорошо несет, да задними-то хлябит; на двуногой-то, брат, далеко не уедешь. Ванька! Подведи-ка ее сюда! – Ванька подвел лошадь к барину. – Вот она где хлябит-то, – говорил Масуров, толкая сильно кулаком лошадь в заднюю лопатку, так что та покачнулась, – шеи-то, смотри, ничего нет; вот и копыта-то точно у лошака; это уж, брат, значит, не тово, не породиста.

– Что копыта? – говорил цыган, поднимая ногу у лошади. – Ты посмотри, какая нога-то у лошади.

– Сашка! Куда ты бежишь? – сказал Масуров, хватая за платье горничную, которая бежала из избы с утюгом.

– Полноте, сударь, гладить пора. Ей-богу, обожгу: вон барыня смотрит в окошко.

– Эка важность, барыня! – И он уж хотел было обхватить ее за талию, но она дотронулась до дерзкой руки утюгом; тот невольно отдернул ее, и горничная, пользуясь минутой свободы, юркнула в сени. – Эка, пострел, хорошенькая! – заметил Масуров, глядя ей вслед.

Горничная действительно была хорошенькая. Лизавета Васильевна, несмотря на слабость своего супруга в отношении прекрасного пола, не оберегала себя с этой стороны, подобно многим женам, выбирающим в горничные уродов или старух. Она в это время точно сидела с братом у окна; но, увидев, что ее супруг перенес свое внимание от лошади к горничной, встала и пересела на диван, приглашая то же сделать и Павла, но он видел все... и тотчас же отошел от окна и взглянул на сестру: лицо ее горело, ей было стыдно за мужа; но оба они не сказали ни слова.

На круглом столе, стоявшем около дивана, лежала какая-то бумага. Лизавета Васильевна машинально взяла ее и развернула: это была записка следующего содержания: «Приезжайте сегодня: мы вас ждем. Вы вчера зарвались; нужно же было понадеяться на шельму валета». Лизавета Васильевна побледнела. Она очень хорошо знала смысл подобных записок: беспокойство ее еще более увеличилось, когда вспомнила она, что вчерашний день, сверх обыкновения, оставила ключи от шкатулки дома. «Он, верно, вчера играл», – подумала она и вышла в спальню. Увы! Подозрения ее оправдались; шкатулка была даже не заперта; из пяти тысяч, единственного капитала, оставшегося от продажи с аукционного торга мужнина имения, она недосчиталась ровно трех тысяч. Видно, Лизавете Васильевне было очень жаль этих денег: она не в состоянии была выдержать себя и заплакала; она не скрыла и от брата своего горя – рассказала, что имение их в Саратовской губернии продано и что от него осталось только пять тысяч рублей, из которых прекрасный муженек ее успел уже проиграть больше половины; теперь у них осталось только ее состояние, то есть тридцать душ. Но чем этим будешь жить? А главное, на что воспитывать детей, которых уже теперь двое? Вот что узнал Павел о ее семейных обстоятельствах. Лизавета Васильева просила его поговорить мужу. Павел обещался.

– Ты только сама начни, сестрица: вдруг неловко, – заметил он.

В то же время слышался голос Масурова.

– Ух! Ой, батюшки, отцы родные! – говорил он, входя в комнату. – Ой, отпустите душу на покаяние! – продолжал он, кидаясь в кресла. – Ой, занемогу! Ей-богу, занемогу! – и залился громким смехом.

– Что тебе так весело? – спросила Лизавета Васильевна.

– Ах, душка моя! Ты себе представить не можешь, что видел сейчас. Вообрази... вспомнить не могу... – Но звонкий смех, которым разразился он, снова прервал его речь.

Брат и сестра невольно улыбнулись, глядя на наивную веселость Михайла Николаича.

– Да что такое? – повторила Лизавета Васильевна.

– Вы сами умрете со смеха, – продолжал Масуров, утирая выступившие от смеха на глазах слезы. – Можешь себе представить: захожу я в кухню, и что же? Долговязая Марфутка сидит на муже верхом и бьет его кулаками по роже, а он, знаешь, пьяный, только этак руками барахтается. – Тут он представил, как пьяный муж барахтается руками, и сам снова захохотал во все горло, но слушатели его не умерли со смеха и даже не улыбнулись: Лизавета Васильевна только покачала головой, а Павел еще более нахмурился. «И это человек, – думал он, – семьянин, который вчера проиграл почти последнее достояние своих детей? В нем даже нет раскаяния; он ходит по избам и помирает со смеха, глядя на беспутство своих дворовых людей». Михайло Николаич еще долго смеялся; Павел потихоньку начал разговаривать с сестрой.

– Ну, душка, – говорил, унявшись, Масуров и обращаясь к жене, – велика нам подать закусить, знаешь, этого швейцарского сырку да хереску. Вы, братец, извините меня, что я ушел; страстишка! Нельзя: старый, знаете, коннозаводчик. Да, черт возьми! Славный был у меня завод! Как вам покажется, Павел Васильич? После батюшки мне досталось одних маток две тысячи.

Павел с удивлением взглянул на зятя; Лизавета Васильевна только улыбнулась: она, видно, привыкла к подобным эффектным выходкам своего супруга.

– У тебя, Мишель, всегда есть привычка прибавлять по два нуля, – заметила она ему.

– Вот прекрасно! Да ты-то почему знаешь? Когда ты приехала, я их давно проиграл. Много, черт возьми, я в жизнь мою проиграл!

– А вчера много ли проиграл? – спросила Лизавета Васильевна.

Масуров очень сконфузился.

– Я вчера не проиграл, – отвечал он, запинаясь.

– Где же три-то тысячи?

Масуров покраснел и ничего не отвечал; он только мотал головой жене, показывая глазами на брата, который сидел в задумчивости.

– Нечего кивать головой-то, – говорила Лизавета Васильевна, – при брате я могу говорить все. Ну, скажи, Поль, хорошо ли это в один вечер проиграть три тысячи рублей?

– Очень нехорошо! – начал Павел. – Женатому человеку не следует рисковать не только тысячами, но даже рублями.

Говоря это, он, видимо, делал над собой большое усилие.

Михайло Николаич переминался.

– Не стыдно тебе? – сказала Лизавета Васильевна.

– Ну, душка, извини, – говорил Масуров, подходя к жене, – счастье сначала ужас как везло, а под конец как будто бы какой черт ему нашептывал: каждую карту брал, седая крыса. Ты не поверишь: в четверть часа очистил всего, как липку; предлагал было на вексель: «Я вижу, говорит, вы человек благородный».

– Это еще лучше! Сколько же ты по векселю-то проиграл?

– Ей-богу, душка, ни копейки. Что я? Сумасшедший, что ли? Ты думаешь, я не понимаю, – что братец не скажет! – я семейный человек, мне стыдно это делать. Вот как три тысячи проиграл, так и не запираюсь: действительно проиграл. Ну, прости меня, ангельчик мой Лиза,

ей-богу, не стану больше в карты играть: черт с ними! Они мне даже опротивели... Сегодня вспомнил поутру, так даже тошнит.

– Немудрено после такого проигрыша, – заметил Павел.

– Ну, душка моя, – продолжал Масуров, ласкаясь к жене, – скажи, простила меня? Дай ручку поцеловать!

Лизавета Васильевна, кажется, мало верила в раскаяние своего мужа.

– Пустой ты человек! – сказала она, отнимая у него свою руку.

– Лизочка, душка моя! Ну, дай хоть мизинчик поцеловать! Хочешь, я встану на колени? – И он действительно встал перед женой на колени. – Павел Васильич, попросите Лизу, чтобы она дала мне ручку.

Павел молчал; ему, видимо, неприятна была эта сцена. Лизавета Васильевна глядела на мужа с чувством сожаления, очень похожим на презрение, но подала ему руку, которую тот звонко поцеловал.

– Важно! Гуляй теперь: жена простила! – вскричал Масуров, поднявшись на ноги и потирая руки. – Ну, теперь, душка, вели же нам подать хересок и закусить... О милашка! Славная у меня, черт возьми, жена! – продолжал он, глядя на уходящую Лизавету Васильевну. – Я ведь ее очень люблю, даже побаиваюсь.

– Вам нужно поосторожнее издерживать деньги, – начал Павел, когда сестра ушла, – вы небогатый и семейный человек.

– Да ведь, братец, я, ей-богу, даже очень скуп: спросите хоть жену; вчера вот только, черт ее знает, как-то промахнулся. Впрочем, что ж такое? У меня еще прекрасное состояние: в Орловской губернии полтораста отлично устроенных душ, одни сады дают пять тысяч годового дохода.

– Мне сестра говорила, – возразил Павел, не могши снести этой лжи, – что у вас имение осталось только в здешней губернии.

– Вот пустяки-то, так уж пустяки! – вскричал Масуров, нисколько не сконфузившись. – Верьте ей: она ужасная притворщица!

Подали закуску.

– Выпьемте-ка, любезный братец, по стаканчику хереску в честь нашего знакомства.

От стаканчика Павел отказался и выпил только рюмку; но Масуров выпил целый стакан.

– Послушайте, братец, – начал он, садясь около Павла, – что, если я вас о чем попрошу, исполните?

– Что такое?

– Нет, скажите наперед, что вы не откажете.

– Я не знаю, в чем еще состоит просьба.

– Нет ли у вас рублей двухсот займа? Я так издержался, что, ей-богу, даже совестно! Только жене, ради бога, не говорите, – продолжал он шепотом, – она терпеть этого не может; мне, знаете, маленькая нуждишка на собственные депансы.¹

Мороз пробежал по коже Павла; он почувствовал полное отвращение к зятю.

– Я не имею денег, – отвечал он сухо.

– Ах, черт возьми, это скверно! Не знаете ли по крайней мере у кого занять? – продолжал не унывавший Масуров. – Покутили бы, канальство, вместе!

Павел на это ничего не ответил, но молча встал и пошел было в соседнюю комнату.

– Куда это вы? – спросил его Масуров.

– Я ищу сестру; хочу проститься.

– Посидите! Она сейчас выйдет. Вы, видно, не охотники пошалить? А еще... – Продолжение этой речи было прервано приходом Лизаветы Васильевны.

¹ Депансы – издержки, расходы (франц.).

- Прощай, сестрица, – сказал Павел, не могши подавить в себе неприятного чувства.
- Обедай у нас, Поль!

Павел хотел было отказаться, но ему жаль стало сестры, и он снова сел на прежнее место. Через несколько минут в комнату вошел с нянькой старший сын Лизаветы Васильевны. Он, ни слова не говоря и только поглядывая искоса на незнакомое ему лицо Павла, подошел к матери и положил к ней головку на колени. Лизавета Васильевна взяла его к себе на руки и начала целовать. Павел любовался племянником и, кажется, забыл неприятное впечатление, произведенное на него зятем: ребенок был действительно хорош собою.

- Поленька! Кто это сидит? – спрашивала его Лизавета Васильевна, указывая на брата. Ребенок глядел на Павла и молчал.

– Постой, я тебе на ушко шепну, – продолжала мать и, пригнув его головку, что-то ему шепнула.

- Кто же? – снова повторила она, указывая на брата.
- Дада, – отвечал шепотом ребенок.
- Полька! Поди сюда! – кричал Масуров, видно, желавший тоже приласкать сына. Ребенок посмотрел на него и не думал сходить с коленей матери.

– Поди сюда, говорят тебе, – повторил Масуров, протягивая руки. – Лиза, душка моя, пошли его ко мне.

- Поди к отцу, – сказала Лизавета Васильевна, ссаживая Поля с коленей.

Ребенок нехотя начал переходить комнату; но только что подошел к папеньке, как сейчас же заревел: Михайло Николаич, по обыкновению, ухватил его пухленькую щечку между пальцами и начал трясти.

- Экий какой! Сейчас и заплакал!

Лизавета Васильевна молча встала и взяла опять сына к себе на колени; дитя тотчас же замолчало.

Обед прошел обыкновенным своим порядком. Павел и Лизавета Васильевна мало ели и больше молчали; но зато много ел и много говорил Михайло Николаич. Он рассказывал шурина довольно странные про себя вещи; так, например, он говорил, что в турецкую кампанию какой-то янычар с дьявольскими усами отрубил у него у правой ноги икру; но их полковой медик, отличнейший знаток, так что все петербургские врачи против него ни к черту не годятся, пришил ему эту икру, и не его собственную, которая второпях была затеряна, а икру мертвого солдата. О своей физической силе и охотничьих своих способностях он тоже отзывался не очень скромно: с божбой и клятвой уверял он своих слушателей, что в прежние годы останавливал шесть лошадей, взявшись обеими руками за заднее каретное колесо, бил пулей бекасов и затравливал с четырьмя борзыми собаками в один день по двадцати пар волков.

Павел ушел от сестры с грустным и тяжелым чувством. «Она более чем несчастна, – говорил он сам с собою. – Добрая, благородная! И кто же ее муж? Кто этот человек, с которым суждено ей провести всю жизнь? Он мот, лгун, необразованный, невежа и даже, кажется, низкий человек!»

IV

Павел

С наступлением зимы губернский город, где происходили описываемые мною происшествия, значительно оживился: составились собрания и вечера. Общество, как повествует предание, было самое блистательное, так что какой-то господин, проживавший в том городе целую зиму, отзывался об нем, по приезде в Петербург, в самых лестных выражениях, называя тамошних дам душистыми цветками, а все общество чрезвычайно чистым и опрятным. Все веселились, даже Перепетуя Петровна ездила в два – три дома играть в преферанс. Родным племянником она была очень недовольна. «Что это за молодой человек, – говорила она, – скажите на милость? Не хочет показаться в общество; право, в нем ничего нет дворянского-то, совершенный семинарист. Вон посмотришь на другую-то молодежь: что это за ловкость, что это за вежливость в то же время к дамам, – вчуже, можно сказать, сердце радуется; а в нем решительно ничего этого нет: с нами-то насилиу слово скажет, а с посторонними так и совсем не говорит. Чего у него недостает? Платье бесподобное, фрак отличнейший – самого тонкого сукна, выезд хороший; слава богу, после покойника-то одних городских саней осталось двое; мать бы ему никогда в этом не отказала, по крайней мере был бы на виду у хороших людей; нет, сударь ты мой, сидит сиднем, в рождество даже никого не съездил поздравить». Но зато везде являлся и всех поздравлял со всевозможными праздниками другой ее племянник, Михайло Николаич Масуров. Он очень успел, по словам тетки, заискать в обществе, а все потому, что ласков и обходителен; и к ней он тоже был очень ласков. Она начинала к нему чувствовать более и более родственного расположения. «Что он мне? – говорила она. – Ведь почти посторонний человек, а лучше родного-то племянника, ей-богу! Приедет, расскажет, где был, что видел и куда опять поедет: прекраснейший человек!»

Перепетуя Петровна была совершенно права в своих приговорах насчет племянника. Он был очень не говорлив, без всякого обращения и в настоящее время действительно никуда не выезжал, несмотря на то, что владел фраком отличнейшего сукна и парными санями. Но так как многие поступки человека часто обуславливаются весьма отдаленными причинами, а поэтому я не излишним считаю сказать здесь несколько слов о детстве и юношестве моего героя.

Павел родился на свет очень худеньким и слабым ребенком; все ожидали, что он на другой же день умрет, но этого не случилось: Паша жил. В продолжение всего своего младенчества он почти не давал голоса и только, бывало, покряхтит, когда захочет есть. Ходить он начал на третьем году и еще позднее того заговорил. Мать с восторгом рассказывала, что Паша с превосходным характером; и действительно, ребенок был необыкновенно тих, послушен и до невероятности добр: сын ключницы, ровесник Павла, приходивший в горницу играть с барчонком, обыкновенно выпивал у него чай, обирал все игрушки и даже не считал за грех дать ему при случае туза; Павел не сердился за это, но сносил все молча и никогда не жаловался. Другие дворовые люди были тоже очень довольны барчонком, потому что он никогда на них не ябедничал, и они обыкновенно делали при нем все, что им вздумается. Павел никогда не резвился и не бегал, а сидел больше в детской на лежанке, поджавши ноги. Любимым его занятием было вырезать из бумаги людей с какими-то необыкновенно узкими талиями и раскрашивать их красками; целые дни он играл ими, как в куклы, водил их по лежанке, сажал, заставлял друг друга кланяться и все что-то нашептывал. Собою был Паша очень нехорош и страшно неопрятен. Нанковые казакинчики, в которые его одевали, были вечно перепачканы; сапоги свои он обыкновенно стаптывал и очень скоро изнашивал; последнего обстоятельства даже невозможно и объяснить, потому что Паша, как я и прежде сказал, все почти сидел. Ребе-

нок, кажется, сознавал, что он нехорош собою, потому что очень не любил, когда приезжали гости, особливо нарядные, которые часто привозили с собою прехорошеньких детей и говорили с ними по-французски; ему было очень совестно сидеть при них в гостиной; он прятал свои руки и ноги, или, лучше сказать, весь старался спрятаться в угол, в котором обыкновенно усаживался. Ему казалось, что все смотрят на него с пренебрежением и сожалением; его никто никогда, кроме матери, не ласкал; молодые барыни никогда не подзывали его для поцелуя и для разговоров, как это бывает с хорошенькими детьми; в его старообразном лице было действительно что-то отталкивающее.

Василия Петровича отдали под суд, и с этого времени к ним решительно перестали ездить гости. Паша этому душевно радовался и с тех пор почти никого не видал, кроме отца и матери. Для образования его был нанят семинарист. Перепетуя Петровна пришла в отчаяние и чуть не поссорилась с сестрою, доказывая ей, что семинаристы ничему не научат, потому что они без всякого обращения. Однажды (Павлу минуло в это время двенадцать лет) к Бешметевым приехал какой-то дальний родственник из Петербурга. Видно, этот господин был не кое-кто, потому что хозяева безмерно ему обрадовались, приняли с каким-то подобострастием и беспрестанно называли его: ваше превосходительство.

– Что это, Василий, твой сын, что ли? – спросил генерал за столом, взглянув на Павла.

– Сын, ваше превосходительство, – отвечал Василий Петрович.

– Чему ты, милый мой, учишься? – сказал генерал, обращаясь к ребенку.

– Мы еще многому-то, по слабости здоровья, не начинали учить; теперь иногда семинарист ходит, – отвечала мать.

Генерал покачал головой.

– Да что же такое тут здоровье-то? За что же вы ребенка-то губите, оставляя его в невежестве? – У Павла навернулись на глазах слезы. – Смотрите, уж он сам плачет, – продолжал генерал, – сознавая, может быть, то зло, которое причиняет ему ваша слепая и невежественная любовь. Плачь, братец, и просись учиться: в противном случае ты погиб безвозвратно.

Много после того генерал говорил в том же тоне и очень убедительно доказал хозяевам, что человек без образования – зверь дикий, что они, то есть родители моего героя, если не понимают этого, так потому, что сами необразованны и отстали от века.

Василий Петрович и Анна Петровна, пристыженные генералом, на другой же день решились готовить сына в гимназию. Паша обрадовался этому решению: он очень хорошо понял, что генерал прав, и ему самому хотелось учиться. Семинарист, имевший, между прочим, известную слабость Александра Македонского, был заменен приходским священником и учителем математики из уездного училища. Ребенок оказал невероятные успехи и через год был совершенно готов в первый класс гимназии. Пашу повели на экзамен. Богу одному разве известно, чего стоило моему герою прийти в первый раз в школу; но экзамен он выдержал очень хорошо, хотя и сконфузился чрезвычайно. Товарищи приняли Павла, как обыкновенно принимают новичков: только что он уселся в классе, как один довольно высокий ученик подошел к нему и крепко треснул его по лбу, приговаривая: «Эка, парень, лбина-то!» Потом другой шалун пошел и нажаловался на него учителю, говоря, что будто бы он толкается и не дает ему заниматься, тогда как Павел сидел, почти не шевелясь. Учитель, любивший задавать новичкам острastку, поставил на целый день Павла на колени. После этого Бешметев начал бояться учителей и чуждаться товарищей и обыкновенно старался прийти в гимназию перед самым началом класса, когда уже все сидели на местах. Учиться ему, впрочем, было очень легко.

Незаметно шел год за годом. Павел подрастал. Из некрасивого и робкого ребенка он сделался мешковатым юношей. Перепетуя Петровна просто приходила в отчаяние, глядя на своего племянника, и не называла его иначе, как тюфяком. В гимназии Павел решительно не шалил, не грубил учителям и хорошо учился. Директор называл его «благодетельный господин Бешметев», но товарищи его называли зубрилой; они не то чтобы не любили Бешметева, но как-то

мало уважали. Все почти товарищи, некоторые из зависти, а другие просто для удовольствия, любили подтрунить над ним, рассказывая, что будто бы он спит с нянькою и по вечерам беспрестанно долбит уроки, а трубки покурить не смеет и подумать, потому что маменька высечет. Молча переносил Павел эти насмешки, но видно было, что они ему неприятны: он очень не любил бывать с товарищами, ни к кому из них никогда не ходил и к себе не звал. Дома Павел не беспрестанно долбил, как думали товарищи: он даже не много занимался, часто сидел с матерью и рассказывал ей что-нибудь. Анна Петровна внимательно слушала сына, хотя ничего не понимала из его слов; но более всего Павел любил быть один, лежать на кровати и мечтать. Восемнадцати лет он кончил курс в гимназии и начал собираться в Москву, чтобы поступить в университет. Анна Петровна еще за месяц перед отъездом сына принялась плакать, а в минуту расставания с ним упала в страшный обморок и целые полгода после того не осушала глаз.

Павел приехал в Москву и отыскал квартиру со столом на Смоленском рынке, у одной титулярной советницы Подхлебовой, по рекомендательному письму от Перепетуи Петровны, находившейся с Подхлебовой когда-то в большой дружбе. Титулярная советница очень опасалась взять к себе на квартиру молодого человека, потому что вообще в числе молодых людей очень много пьяниц, развратных и буянов; но Перепетуя Петровна писала весьма убедительно, и Подхлебова решилась, тем более что третья комната нанимаемой ею квартиры была решительно ей не нужна. Скоро страх титулярной советницы совершенно рассеялся: молодой человек оказался скромен и тих, даже более, чем следовало. Она прозвала его старичком и всем своим знакомым рассказывала, что постояльца ей просто бог послал, что он второй феномен, что этакой скромности она даже сама в девицах не имела, что он, кроме университета, никуда даже шагу не сделал, а уж не то чтобы заводить какие-нибудь дебоширства. Придет, пообедаст, полежит, почитает книжку, попишет и, видно, чрезвычайно много занимается науками; даже с ней мало вступает в разговоры, хотя она и старается его обласкать.

С озабоченным и несколько сердитым лицом явился Павел в университет, сел на самую дальнюю скамейку и во все время экзаменов не сказал почти ни с кем ни слова. Так же начал он ходить и на лекции: приходил, садился где-нибудь вдали, записывал слова профессора, а потом уходил. Он не сошелся ни с одним из товарищей и ни с одним из них даже не кланялся. Дома он действительно, как говорила титулярная советница, вел самую однообразную жизнь, то есть обедал, занимался, а потом ложился на кровать и думал, или, скорее, мечтал: мечтою его было сделаться со временем профессором; мечта эта явилась в нем после отлично выдержанного экзамена первого курса; живо представлял он себе часы первой лекции, эту внимательную толпу слушателей, перед которыми он будет излагать строго обдуманые научные положения, общее удивление его учености, а там общественную, а за оной и мировую славу. С течением времени, однако, такого рода исключительно созерцательная жизнь начала ему заметно понаедать: хоть бы сходить в театр, думал он, посмотреть, например, «Коварство и любовь»²; но для этого у него не было денег, которых едва доставало на обыденное содержание и на покупку книг; хоть бы в гости куда-нибудь съездить, где есть молодые девушки, но, – увы! – знакомых он не имел решительно никого. Часто часу в десятом-одиннадцатом вечера выходил он из дома и долго ходил по улицам без всякой цели и только иногда останавливался перед каким-нибудь освещенным домом... Внутри было светло: в каком-то фантастическом свете являлись ему движущиеся там фигуры людей; ему казалось, что там должно быть очень хорошо и весело. Лежа по вечерам на кровати, он каким-то странным чувством прислушивался к говору женских голосов, раздававшемуся в комнате хозяйки. К ней очень часто ходили ее приятельницы, но все, как нарочно, были очень дурны собой.

За два года перед выпуском Бешметев, приехав домой на вакацию, увидел в первый раз сестру свою. Сначала он очень дичился ее, но Лиза была живее брата; она начала его мало-

² «Коварство и любовь» – трагедия немецкого поэта И.Ф.Шиллера (1759—1805).

помалу приучать к себе, и к концу вакации он даже просиживал с нею целые дни и разговаривал. Перед отъездом она ему намекнула, что ей по преимуществу правится некто Бахтияров. Павла, кажется, это очень заинтересовало: он в каждом письме после того намекал сестре на это обстоятельство. На третьем курсе Бешметев переменял квартиру. Хозяйка его, титулярная советница Подхлебова, несмотря на то, что двенадцатый год вдовела, была женщина строгой нравственности. Сначала она, как мы видели, очень опасалась взять к себе на квартиру молодого студента, но потом успокоилась, увидев, что этот студент совершенный старичок, и очень скоро к нему привыкла. Она вместе с ним обедала, поила его чаем, часто приходила в его комнату и даже упростила быть при ней в халате, очень справедливо замечая, что, живши вместе, на всякий час не убережешься. Потом... Титулярная советница, несмотря на сорок пятый год жизни, хранила еще в груди своей сердце, способное любить: когда Бешметев уехал на вакацию, она с ужасом догадалась, что питает к своему постояльцу не привычку, а чувство более нежное, более страстное, потому что, в продолжение трех месяцев его отсутствия, безмерно грустила и скучала, а когда Павел приехал, она до сумасшествия обрадовалась ему и чрезвычайно сконфузилась. В голове ее образовалась довольно смелая мысль: она вздумала выйти замуж за Павла, когда он кончит курс, а до тех пор постараться внушить ему любовь к себе. С этого времени жизнь Павла сделалась гораздо комфортабельнее: в комнате его поставлена была новая мебель, и даже приделано было новое драпри к окошку; про стол и говорить нечего: его кормили как на убой; сама титулярная советница начала просиживать целые дни в его комнате; последнее, кажется, очень надоедало Павлу, потому что он каждый раз, когда входила к нему хозяйка, торопился раскрыть книгу и принимался читать. «Я вам не буду мешать, а только так посижу», – говорила хозяйка и, сев напротив, начинала пристально на него смотреть, вздыхать и даже набивала ему трубки; холодность Павла относил она к робости. Титулярная советница чувствовала непреодолимое желание объясниться с своим постояльцем и ободрить его. 10 октября, в день своего рождения, она, кажется, исполнила свое намерение: за ужином она много поила Павла вином, а потом пришла к нему в комнату и очень долго там сидела. Но на другой день Павел чуть свет ушел из дома и нанял другую квартиру. К титулярной советнице он более не возвращался; даже за вещами своими просил съездить своего нового хозяина, честного немца, питаемого повивальным искусством своей супруги. Госпожа Подхлебова, кажется, не ожидала такого поступка со стороны своего постояльца. «Что вам угодно? Я вас не знаю... Не может быть... Я не могу верить!..» – говорила она и решительно было не хотела отдавать вещей пришедшему за ними немцу. «Моя Каролин Ивановна кочет, я кочет, господин студент кочет: ви не может не давать... Когда ви, мой дам, не катите, то я пашоль на кварталный», – сказал немец и действительно пошел было за кварталным; но титулярная советница сочла за лучшее покориться судьбе и отпустить вещи... Впрочем, она написала к Павлу предлинное письмо и послала его к нему с горничною девкой. Содержание этого письма мне тоже неизвестно, потому что и сам Бешметев, не прочитав его, разорвал и бросил в печь.

На новой квартире Павел начал жить так же однообразно и еще уединеннее. Хозяева его не беспокоили: повивальная бабка почти никогда не бывала дома, а честный немец предавался по целым дням невинному и любимому его занятию: он все переписывал прописи, питая честолюбивые замыслы попасть со временем в учителя каллиграфии. Вскоре у Павла появилось новое занятие: он очень долго начал засиживаться у окна и все смотрел на крыльцо противоположного дома, откуда часто выходила молоденькая девушка в сопровождении пожилой дамы, садилась в парные сани, куда-то уезжала и опять приезжала. В теплые дни девушка выходила с какою-то дамой, а иногда с господином в бекешке гулять пешком и была одета, в таком случае, в теплый шелковый капот. Боже мой! Как хороша казалась Павлу его соседка! Какая была чудная у ней талия! А глаза... даже на таком дальнем расстоянии видно было, что у ней чудные черные глаза! Жизнь Павла как будто бы сделалась полнее. Каждый день он просыпался с надеждою увидеть соседку и действительно каждый день ее видел. Он очень хорошо

заучил, в котором часу она ходит гулять, долго ли гуляет; знал дни, в которые она уезжала часов в двенадцать и возвращалась уже поздно. По праздникам девушка и дама выезжали из дома часу в одиннадцатом и часу в двенадцатом возвращались домой; Павел догадался, что они ездят к обедне, а потом узнал – и куда именно; оказалось, что в соседний приход. Он сам пошел туда, видел ее, видел вблизи, и каждое воскресенье, каждый праздник начал ходить в эту церковь. С этого времени он почти перестал заниматься и вполне предался своим мечтам. Ему очень хотелось, чтобы девушка его заметила, но этого ему никак не удавалось достигнуть.

В конце первой недели великого поста соседний дом запустел; ни девушки, ни дамы, ни господина в бекешке не стало видно: они уехали. Трудно описать, как Павлу сделалось скучно и грустно; он даже потихоньку плакал, а потом неимоверно начал заниматься и кончил вторым кандидатом. Профессор, по предмету которого написал он кандидатское рассуждение, убеждал его держать экзамен на магистра. Все это очень польстило честолюбию моего героя: он решился тотчас же готовиться; но бог судил иначе.

Через несколько времени Павел получил письмо от тетки, которая уведомляла его, что отец его умер, а мать в параличе, и просила его непременно приезжать как можно скорее домой. Павла это очень огорчило, и он тотчас же поехал, с твердым, однако, намерением снова возвратиться в Москву. Мы видели, какие печальные обстоятельства встретили Бешметева на родине, видели, как приняли родные его намерение уехать опять в Москву; мать плакала, тетка бранилась; видели потом, как Павел почти отказался от своего намерения, перервал свои тетради, хотел сжечь книги и как потом отложил это, в надежде, что мать со временем выздоровеет и отпустит его; но старуха не выздоравливала; герой мой беспрестанно переходил от твердого намерения уехать к решению остаться, и вслед за тем тотчас же приходила ему в голову заветная мечта о профессорстве – он вспоминал любимый свой труд и грядущую славу. Грустно, тошно становилось Павлу. «Поеду, непременно поеду», – говорил он сам с собою, и только день отъезда откладывал в дальний ящик... Он не мог себе без ужаса представить той минуты, когда мать, прощаясь с ним, может быть не перенесет этого и умрет на его руках; кроме того, не будучи самонадеян, он, кажется, не слишком твердо был убежден, что достигнет своей любимой цели, профессорства, или по крайней мере эта цель была слишком еще далека. Весьма естественно, что в настоящем своем положении Бешметев не был спокоен: он чувствовал невыносимую тоску, грусть и скуку; заниматься ему почти не давали, потому что то кликали к матери, то приезжала тетка или сестра, да, кажется, и сам он был не слишком расположен к деятельности. Оставаясь один, он обыкновенно ложился на кровать и бог знает о чем начинал думать, а сердце между тем беспрестанно ныло и тосковало. Семейная жизнь сестры была для Бешметева новым источником неприятностей; Масуров казался ему отвратительнейшим существом, а сестра страдалицею, тем более что ей угрожало впереди существенное зло – бедность. Впрочем, Лизавета Васильевна впоследствии ни слова не говорила брату о своих семейных неприятностях, была как будто бы спокойна и очень ласкалась к Павлу. Целые дни проводили они вдвоем. Бешметев начал все более сближаться с сестрою, сделался с нею говорлив, откровенен и даже поверил ей свою мечту. Женщины, как известно, очень находчивы. Лизавета Васильевна нашла, что брат может заниматься, не уезжая в Москву, и что, если ему нужны книги, он может их выписать. Бешметев счел эту мысль довольно справедливою и решился при первом же получении оброков выписать рублей на двести книг и начать приготовляться. Успокоившись на этом решении, он между тем целые дни начал просиживать у сестры.

Случайно или умышленно, но только разговоры их по преимуществу стали склоняться на любовь. Лизавета Васильевна в этом отношении была гораздо опытнее брата: она знала любовь в самых тонких ее ощущениях; она, как видно, очень хорошо знала страдания и счастье влюбленного. С отрадою и не без волнения прислушивался Павел к словам сестры и понимал

их каким-то неясным чувством; в первый раз еще сблизился он с женщиною и взглянул в ее сердце.

– Где это ты, сестрица, все узнала? – спросил он однажды, прослушав от сестры живой рассказ о нечаянной встрече одной молодой девушки с любимым человеком.

– Я много читала романов, – отвечала она.

Павел сомнительно покачал головою.

– Женщина в двадцать лет много знает, много чувствовала, – продолжала Лизавета Васильевна.

– И много испытала? – перебил Павел.

– Может быть, и так, – отвечала Лизавета Васильевна.

Результатом таких бесед было то, что Павел, приходя от сестры и улегшись на постель, не сознавая сам того, по преимуществу начал думать о женщинах. Московская соседка была припомнена в малейших подробностях. «Как хороша вообще женщина! – думал он. – Какое блаженство любить хорошенькую женщину!» Праздное воображение его дополняло ему то, что не досказывала сестра. Он потом рассказал ей слегка о своей любви в Москве к соседке, которую он, по его словам, до сих пор слишком хорошо помнит, как будто бы видел ее вчера.

V

Неожиданная встреча

Лизавете Васильевне случилась надобность уехать на целый месяц в деревню. Павлу сделалось очень скучно и грустно. Он принялся было заниматься, но, – увя! – все шло как-то не по-прежнему: формулы небесной механики ему сделались как-то темны и непонятны, брошюрка Вирея скучна и томительна. «Не могу!» – говорил он, оставляя книгу, и вслед за тем по обыкновению ложился на кровать и начинал думать о прекрасной половине рода человеческого.

Проскучав недели две, Павел вздумал съездить к тетке. Перепетуя Петровна, при его приходе, стояла перед зеркалом и надевала что-то вроде мантильи, сшитой по ее собственному воображению.

– Насилу-то, батюшка, пожаловал, – сказала она, увидев племянника. – Ну что, какова маменька-то?

– Все так же-с, – отвечал Павел.

– Палашка, – говорила Перепетуя Петровна, отряхая шелковое платье, – ведь юбка-то у меня все-таки видна.

– Нет, матушка, это так.

– Какое, дура, так! Паша, видна, у меня юбка-то?

– Я ничего не вижу.

– Наклонись, батька, пониже, посмотри хорошенько, нехорошо... растрепой-то приедешь.

– Я ничего не вижу.

– Ну, уж и этого-то не умеешь сделать порядочно; экий какой! Еще кавалер! Что у меня сегодня какой нехороший цвет лица? Этакая краснота неприятная! Палашка! Поддай-ка мне лодиколону обтереться. Оботрись-ка, Павел, и ты.

– Да мне-то зачем, тетушка?

– Пустяки, сударь, изволь-ка обтереться да поедem вместе со мной.

– Это куда?

– К Феоктисте Саввишне. Небось, не привезу в какое-нибудь неприличное место.

– Помилуйте, тетушка! Я с ней незнаком.

– Это что за вздор? А я-то на что? Я знакома, все равно. Нечего, извольте-ка собраться: вместе и поедem, отпусти свою лошадь-то. Палашка, вели его лошади домой ехать!

– Тетушка...

– Вздор, сударь, вздор! – затараторила Перепетуя Петровна.

Как мой герой ни противился, но через несколько минут он был вытерт из собственных рук Перепетуи Петровны одеколоном и повезен в гости. Он едва мог опомниться у крыльца Феоктисты Саввишны. Перепетуя Петровна, всходя по деревянной лестнице, освещенной фонарем, опиралась на руку племянника как для поддержания своей особы, так и для прекращения Павлу всякой возможности улизнуть, что уже и было им прежде того один раз сделано. Они вошли в лакейскую, где было с десятков шуб, три лакея и сильный запах салом. В зале... Но я предварительно должен сказать несколько слов о хозяйке дома и ее гостях. Феоктиста Саввишна, так как и Перепетуя Петровна, не принадлежала к высшему губернскому кругу, но имела из этого круга один только дружественный дом – Кураевых; сфера же ее знакомства ограничивалась незначительным чиновным людом. В настоящее время у Феоктисты Саввишны были в гостях некто помещик Иван Иванович, дающий деньги под проценты, уездный стряпчий, человек очень бы хороший, но, к несчастью, по несколько раз в год предающийся

запою, и, наконец, учитель гимназии, метивший в инспекторы, и еще кое-кто. Все эти господа привезли с собою жен, а некоторые и своячениц; но вечера свои Феоктиста Саввишна обыкновенно скрашивала, приглашая к себе дружественное для нее семейство из высшего круга – Кураевых. Владимир Андреич никогда сам не ездил к Феоктисте Саввишне, но, занимая иногда через нее деньги, жену и дочерей отпускал. Брюнетка, как сама она говорила, очень скучала на этих жалких вечерах; она с пренебрежением отказывалась от подаваемых ей конфет, жаловалась на духоту и жар и беспрестанно звала мать домой; но Марья Ивановна говорила, что Владимир Андреич знает, когда прислать лошадей, и, в простоте своего сердца, продолжала играть в преферанс с учителем гимназии и Иваном Ивановичем с таким же наслаждением, как будто бы в ее партии сидели самые важные люди; что касается до блондинки, то она выкупала скуку, пересмеивая то красный нос Ивана Ивановича, то неуклюжую походку стряпчего и очень некстати поместившуюся у него под левым глазом бородавку, то... но, одним словом, всем доставалось! Гости же Феоктисты Саввишны в отношении особ высшего круга держали себя почтительно, а хозяйка оказывала им исключительное внимание, хотя в то же время все почти знали, что эти особы – пух, или, как говорили многие, сидят на овчинах, а бьют с соболей, то есть крепко небогаты. Но их изящная форма? Что делать: их изящная форма внушала невольное к ним уважение.

Хозяйка встретила еще в зале Перепетую Петровну и Павла.

– Честь имею представить племянника, – сказала Перепетую Петровна, целуясь с хозяйкой.

– Очень приятно, – отвечала Феоктиста Саввишна, жеманно кланяясь Павлу и глядя на него с некоторым удивлением: она представляла его себе вовсе не таким. – Милости прошу, Перепетую Петровна, – продолжала она, указывая на дверь в гостиную, – Павел Васильич, сделайте одолжение.

Но Павел не сделал одолжения, не пошел в гостиную. Постояв несколько минут, он сел невдалеке от гостя в коричневом фраке, который тоже, видно, не принадлежал к числу дамских любезников, а потому сидел один-одинехонек в зале. Брюнетке и блондинке сделалось очень скучно и жарко в гостиной, в которой действительно была страшная духота. Обе девушки, взявшись под руки, вышли в залу; они взглянули вскользь на Павла и на его соседа, а потом насмешливо переглянулись между собою; Павел тоже заметил их, и страшное изменение произошло в его наружности: он сначала вздрогнул всем телом, как бы дотронувшись до лейденской банки, потом побледнел, покраснел, взглянул как-то странно на гостя в коричневом фраке, а вслед за тем начал следить глазами за ходившими взад и вперед девушками: в брюнетке мой герой узнал свою московскую соседку. Барышни с своей стороны не глядели более ни на Павла, ни на его собеседника, а разговаривали громко о недавно бывшем маскараде на французском языке, что они всегда делали в укор невежественным гостям Феоктисты Саввишны. Вскоре вошла хозяйка и начала умолять Юлию Владимировну что-нибудь пропеть; Юлия отказывалась.

– Вы не поверите, – говорила Феоктиста Саввишна, обращаясь к Павлу и к господину в коричневом фраке, – что у них за ангельский голосочек.

Коричневый фрак встал, кашлянул и ничего не сказал: выражение лица его как будто бы говорило: «Не могу знать-с, не мое дело!» Но еще страннее вел себя Павел; он даже не встал и не сказал ни слова хозяйке.

– Кто это такой? – шепнула блондинка.

– Бешметев, – отвечала хозяйка.

Блондинка сжала губки и слегка кивнула головой.

– Юлия Владимировна, – заговорила снова Феоктиста Саввишна, мучимая меломанией, – сжальтесь над нами, доставьте нам это наслаждение.

Юлия Владимировна сжалась и с кислой миною уселась за фортепьяно. С первым же ее аккордом все гости, игравшие и не игравшие в карты, вышли в залу, а потом со второго куплета (она пела: «Что ты, ветка бедная...»³) многие начали погружаться в приятную меланхолию.

– Я не могу без слез слушать этого романса, – говорила растроганная Марья Ивановна, – так, знаете, много в нем души!

– Да-с, – отвечал Иван Иванович, – прекрасная песенка, да и Юлия Владимировна прекрасно изволят петь.

– У ней хорошенький голосок, – подтвердила мать.

Между тем Павел все сидел на прежнем месте и в том же положении. Блондинке очень хотелось поговорить с ним, по похвальной ее наклонности сближаться с несчастными.

– Вы любите музыку? – спросила она его.

– Я не знаю музыки, – отвечал Бешметев.

– Вы ни на чем не играете?

– Ни на чем-с.

– А как вам нравится голос сестры?

При этом вопросе Павел заметно сконфузился и молчал.

«Какой он странный! – подумала блондинка. – Как бы его заставить поговорить? Может быть, скажет что-нибудь смешное».

В этом намерении она села рядом с Павлом.

– Вы бываете в собрании? – спросила она.

– Нет-с.

– Отчего же?

– Я не люблю собраний.

– Отчего вы не любите собраний?

В это время брюнетка подошла к сестре.

– Послушай, *ma soeur*⁴, – продолжала блондинка, – *monsieur* не любит собраний.

Юлия отвечала сестре улыбкою и, взяв ее за руку, отвела от Павла.

Часу в двенадцатом за Кураевыми были присланы лошади, и они, несмотря на убедительные просьбы хозяйки – закусить чего-нибудь, уехали домой. Павел уехал вместе с теткою после ужина. Придя в свою комнату, он просидел с четверть часа, погруженный в глубокую задумчивость, а потом принялся писать к сестре письмо. Оно было следующее:

«Лиза, друг мой! Ты себе представить не можешь, что сегодня со мною случилось. Пришел я к тетке; она собиралась в гости на вечер и требовала, чтобы и я с ней ехал. Я, разумеется, не хотел; но она закричала, забранилась, почти насильно посадила меня в сани и привезла к Феоктисте Саввишне, и здесь я встретил, знаешь ли, кого? Я встретил ее... ту, которую видел в Москве. До сих пор я не могу еще хорошенько опомниться. Тетка говорит, что она здешняя: фамилия ее Кураева. Боже мой, как она еще похорошела! Лицо ее сделалось еще правильнее... Что за чудные у ней ручки, Лиза! Когда она играла на фортепьяно, это была не женщина, а античная статуя, совсем как есть статуя...»

Написав это, Павел лег на кровать. Губернский учитель музыки был, впрочем, совершенно другого мнения: он всегда выговаривал брюнетке за то, что она решительно не умеет держать себя за фортепьяно, потому что очень ломается. Пролежав несколько минут, Павел встал и снова принялся писать:

«Я решительно влюблен: во мне совершается что-то странное и непонятное. Бог знает что бы я готов был отдать, если бы она меня полюбила! Я бы за это готов был отказаться от всего».

³ «Что ты, ветка бедная...» – романс на слова И.П.Мятлева (1796—1844).

⁴ сестра (франц.).

На этом месте он снова остановился, снова полежал на постели и, вставши, еще приписал: «Приезжай, Лиза, бога ради, скорее, – мне без тебя смертная скука; мне так много надобно с тобою переговорить... Что ты там делаешь? Приезжай! Остаюсь любящий тебя и влюбленный.

Бешметев».

Заключивши таким образом письмо, он запечатал его и улегся уже совсем, но долго еще не спал и ворочался с боку на бок. Встав на другой день, Павел распечатал свое письмо, перечитал его несколько раз и, видно, раздумав посылать его, разорвал на мелкие куски; но тотчас же написал другое:

«Милая Лиза! Что ты делаешь в деревне? Приезжай скорее: мне очень скучно. Матушка в том же положении, тетка бранится; мужа твоего не видал, а у детей был: они, слава богу, здоровы. Приезжай! Мне о многом надобно с тобой переговорить. Брат твой...» и проч.

Это письмо Павел отправил и принялся читать какую-то книгу, но через четверть часа швырнул ее, лег вниз лицом на кровать и почти целый день пролежал в таком положении.

VI

Поездка в собрание и ее последствия

Бешметев, в своем бездействии, думал решительно об одной брюнетке: ему страшно хотелось видеть ее. Он узнал, где их дом, и часа по два прохаживался невдалеке от него и поджидал, не пойдет ли она, как бывало это в Москве, гулять или по крайней мере не поедет ли куда-нибудь; был даже раза два в театре, но ничто не удавалось. Приехала Лизавета Васильевна. Павел только через неделю, и то опять слегка, рассказал сестре о встрече с своею московскою красавицей; но Лизавета Васильевна догадалась, что брат ее влюблен не на шутку, и очень этому обрадовалась; в голове ее, в силу известного закона, что все сестры очень любят женить своих братьев, тотчас образовалась мысль о женитьбе Павла на Кураевой; она сказала ему о том, и герой мой, хотя видел в этом странность и несбыточность, но не отказывался. Страшно и отраднo становилось ему, когда он начинал думать, что эта девушка, столь прекрасная и которая теперь так далека от него, не только полюбит его, но и отдастся ему в полное обладание, будет принадлежать ему телом и душой, а главное, душой... Как все это отраднo и страшно! Впрочем, Павел все это только думал, сестре же говорил: «Конечно, недурно... но ведь как?..» Со времени появления в голове моего героя мысли о женитьбе он начал чувствовать какое-то беспокойство, постоянное волнение в крови: мечтания его сделались как-то раздражительны, а желание видеть Юлию еще сильнее, так что через несколько дней он пришел к сестре и сам начал просить ее ехать с ним в собрание, где надеялся он встретить Кураевых. Лизавета Васильевна с удовольствием согласилась: ей самой очень хотелось видеть Юлию. Но здесь явилась новая забота: Павел боялся показаться в собрание и несколько раз был готов отказаться от своего намерения; даже мороз пробежал по телу при одной мысли, как неловко и неприятно будет его положение в ту минуту, когда он войдет в залу, полную незнакомых людей! Что ему там делать? Как вести себя? О чем и с кем говорить? Не удивляйтесь, светский читатель, последним чувствованиям моего героя. Вы образовывались совершенно под другими условиями, вы, может быть, подобно Онегину, выйдя из-под ферулы вертлявого, но с прекрасными манерами француза, еще с семнадцати лет, вероятно, сделались принадлежностью света и балов. Но Бешметев во всю жизнь был только на одном бале, куда его еще маленького привезла мать, и он до сих пор не забыл, как было ему неловко и скучно в светлой зале. В день собрания он очень много занимался своим туалетом, долго смотрелся в зеркало, несколько раз умылся, завился сначала сам собственноручно, но, оставшись этим недоволен, завился в другой раз через посредство цирюльника, и все-таки остался недоволен; даже совсем не хотел ехать, тем более что горничная прескверно вымыла манишку, за что Павел, сверх обыкновения, рассердился; но спустя несколько времени он снова решился. Часов в восемь он нарядился в черный фрак и какой-то цветной жилет. Фрак отличнейшего сукна сидел на нем не отлично. Когда Павел пришел к сестре, она была еще в блузе; но голова ее была уже убрана по-бальному. В лице Бешметева очень заметно было волнение; поздоровавшись с сестрою, он беспокойными шагами начал ходить по комнате.

- О чем ты думаешь, Поль? – спросила Лизавета Васильевна.
- Так, ни о чем.
- Как ни о чем? Ты чем-то расстроен.
- Право, так; мне что-то не хочется ехать.
- Но ведь ты сам меня звал.
- Знаю, – но, видишь...
- Нет, ничего не вижу.
- Мне что-то нездоровится.

– Полно, Поль, пустяки-то говорить; что за робость.

Павел не отвечал.

– Что ж, мы не едем? – спросила Лизавета Васильевна после минутного молчания.

– Я не знаю, – отвечал Павел.

– Что это у тебя, братец, за дикость? Отчего это?

– Вовсе не дикость.

– Как не дикость? Чего же ты боишься людей?

– Я не боюсь, но не люблю общества; мне как-то неловко бывать с людьми; все на тебя смотрят: нужно говорить, а я решительно не нахожусь, в голове моей или пустые фразы, или уж чересчур серьезные мысли, а что прилично для разговора, никогда ничего нет.

Лизавета Васильевна покачала головой.

– Станный ты человек! Другой на твоём месте ещё в Москве бы познакомился с Кураевыми.

– Вот прекрасно! Каким же образом я мог бы познакомиться?

– Очень просто: приехать в дом, да и только.

– С какой же стати я приехал бы?

– Да как же другие-то знакомятся?

– Я не знаю: их, верно, зовут.

– Вовсе нет: сами приезжают.

– В таком случае это нахальство.

– Никакого тут нет нахальства.

– Конечно, нахальство; вдруг ни с того ни с сего приехать и рекомендоваться. Очень, я думаю, интересен я для них.

– Всякий молодой человек интересен в семейном доме, потому что он жених. Нет, Поль, это не оттого... ты ещё мало влюблен.

– Нет, Лиза.

– Что же?

– Так... ты неправду думаешь.

Сказав эти слова, Павел вспыхнул.

Брат и сестра замолчали.

– Послушай, Поль, – начала Лизавета Васильевна, – вот мы теперь съездим в собрание; ты ещё посмотришь на неё, и я посмотрю, а потом...

– Что же потом?

– Потом стороной и разузнаем, что и как... а там ты съездишь в дом раза два...

– Ни за что не поеду.

– Нет, это пустяки: ты поедешь, а тут и я съезжу, и, смотришь, вдруг скажут: «Павел Васильич с супругою приехали!».

– Нет, сестрица, это невозможно... это так, одно пустое предположение...

– А вот посмотрим... Что ж? Прикажете одеваться? Угодно вам ехать? – шутила Лизавета Васильевна, вставая.

– Одевайся, – отвечал Павел каким-то странным голосом.

Лизавета Васильевна вышла, Павел задумался, и через полчаса она возвратилась уже совсем одетая. Бешметев, несмотря на внутреннее беспокойство, чуть не вскрикнул от удивления: так была она хороша с своею стройною талией, затянутою в корсет, с обнаженными руками и шеею, покрытыми белою и нежною кожею, с этим умным, выразительным лицом, оттененным роскошными смолистыми кудрями. Павел невольно взглянул в зеркало, и – боже мой! – как некрасива и непредставительна показалась ему его собственная фигура! С приближением к собранию беспокойство его увеличилось, сердце ныло; он несколько раз покушался просить сестру воротиться назад, но промолчал.

В залу Бешметев вошел в лихорадочном состоянии; лицо его было бледно и с каким-то странным выражением. Масурову тотчас же заметили.

– Лизавета Васильевна! Наконец-то вы показались, – говорила толстая, почтенная дама, пожимая ей руку. – С кем это вы, – продолжала она, увидя Павла, – с мужем?

– Нет, это мой брат, – отвечала Лизавета Васильевна и взглянула было на брата, в намерении представить его почтенной даме; но Павел очень серьезно глядел на сестру и не трогался с места.

Масурову окружили еще многие старые знакомые; некоторые уже знали о ее приезде, другие же, подходя к ней, издавали звуки удивления и радости: «*Mon Dieu! Est-ce bien vous?*» – «*C'est vous, madame?*»⁵ Даже слышалось: «*ma bonne Lise*», «*ma chere*» и «*Lisette*»⁶, – но никто не заметил, никто не приветствовал Павла. Ему сделалось, как и ожидал он, страшно неловко: он решительно не знал, что делать с руками, ногами, с шляпою, или, лучше сказать, он решительно не находил, как прилично расположить всю свою особу. Павел не знал ни одного обычного в то время приема молодых людей: он не умел ни закладывать за жилет грациозно руку, ни придерживать живописно эту рукою шляпу, слегка прижав ее к боку, ни выступить умеренно вперед левою ногою, а тем более не в состоянии был ни насмешливо улыбаться, ни равнодушно смотреть; выражение лица его было чересчур грустно и отчасти даже сердито. Постояв несколько минут в положении смешавшегося в своей роли трагического актера, он счел за лучшее сесть. Не излишним считаю здесь заметить, что Павел по своей наружности был не самый последний в собрании. Не говоря уже о толстых, усевшихся играть в преферанс или вист, было даже несколько тоненьких молодых людей с гораздо более неприличными, чем он, для бала физиономиями и фраками: некоторые из них, подобно ему, сидели вдали, а другие даже танцевали. Конечно, были и такие, которые далеко превосходили Бешметева; к числу таких, по преимуществу, принадлежал высокий господин лет тридцати пяти, стоявший за колонною: одет он был весь в черном, начиная с широкого, английского покроя, фрака, до небрежно завязанного атласного галстука. Желтоватое лицо его, покрытое глубокими морщинами и оттененное большими черными усами, имело самое модное выражение, выражение разочарования, доступное в то время еще очень немногим лицам. Карие глаза его лениво смотрели на составлявшуюся невдалеке от него французскую кадрили. Высоким господином интересовались, кажется, многие дамы: некоторые на него взглядывали, другие приветливо ему кланялись, а одна молодая дама даже с умыслом села близ него, потому что, очень долго заставив своего кавалера, какого-то долговязого юношу, носить по зале стул, наконец показала на колонну, около которой стоял франт; но сей последний решительно не обратил на нее внимания и продолжал лениво смотреть на свои усы. Молодая дама, усевшись, несколько раз повертывала к нему голову и поднимала на него большие серые глаза.

– Monsieur Бахтиаров, – сказала, наконец, она, не утерпев.

Франт лениво взглянул на нее.

– Посмотрите, – продолжала дама, указывая глазами на Бешметева, – за что этот господин сердится?

– Я вдали не вижу.

– Да это недалеко, на стуле у третьего окна.

– Не вижу-с.

– Да что это!.. Посмотрите.

– Право, не вижу.

Дама несколько обиделась и отворотилась от Бахтиарова.

– Вы сегодня не в духе? – начала снова она.

⁵ Боже мой! Вы ли это? – Это вы, сударыня? (франц.).

⁶ милая Лиза, дорогая, Лизочка (франц.).

– Как и всегда.

– Пожалуйста, посмотрите на этого сердитого господина!

Бахтиаров насмешливо улыбнулся.

– Странное желание! – проговорил он и, нехотя приложив к глазу одностекольный лорнет, взглянул на Павла: равнодушное выражение лица его мгновенно изменилось, он как будто бы покраснел. – Какое сходство! – проговорил он как бы сам с собою.

– С кем? – спросила она.

Бахтиаров не отвечал.

– С кем сходство? – повторила дама.

– С вами, – отвечал Бахтиаров.

Дама пожала плечами и надула губы.

– Вы забываете, вам начинать, – сказал Бахтиаров после небольшого молчания.

Дама начала ходить в первой фигуре, но смешалась в шене. Между тем. Бахтиаров взглянул в ту сторону, где танцевала Лизавета Васильевна, и лицо его снова изменилось. Когда соседка его возвратилась на свое место, он выдвинулся из-за колонны и начал с нею весело разговаривать.

– У вас, должно быть, сегодня истерика? – сказала дама.

– Это отчего?

– Да как же? Вы то грустны, то веселы чересчур. Со мною бывало это.

– Со мною не то, что с вами, – ответил Бахтиаров. – Знаете ли что? Судьба иногда дарит человека в его скучной жизни вдруг, неожиданно, таким... как бы это выразить? – удовольствием, или, пожалуй, даже счастьем...

– Право? – перебила дама. – Не случилось ли с вами того же?

– Отчасти.

– Поздравляю вас! Стало быть, вы счастливы?

– Отчасти.

– Нельзя ли узнать причину?

– Невозможно.

– Почему же?

– Потому что вы всем расскажете.

– Честное слово, никому не скажу.

– Извольте: я встретил одного старого приятеля.

Дама сомнительно покачала головою и старалась угадать по направлению взгляда Бахтиарова, на кого он смотрит.

– Полно, не приятельницу ли? – сказала она.

– У меня нет приятельниц.

– Это почему?

– Приятельницами могут быть только женщины.

– Ну так что же?

– А женщин я давно не люблю.

– А М., а К., а Д.? А дама в очках?

– Это они меня любили, а не я их.

– Послушайте: это неблагородно так говорить о женщинах.

– А еще неблагороднее сплетничать на приятельниц.

– Кто же на них сплетничает?

– Вы.

– Ах, боже мой!.. Это все говорят... Это вы сами сейчас говорили.

– Я хотел подделаться под ваш тон.

– Под какой же мой тон?

– Посплетничать.

– Это ни на что не похоже, – сказала дама, очень обидевшись, и встала с своего места.

Кадриль в это время кончилась. Бахтиаров тоже довольно быстро пошел на другой конец залы: там стояла Лизавета Васильевна и разговаривала с каким-то плешивым господином. Бахтиаров подошел к ней и несколько минут оставался в почтительном положении.

– Je vous salue, madame!⁷ – произнес он потом довольно тихо. Лизавета Васильевна вздрогнула и обернулась: все лицо ее вспыхнуло, и она ответила одним молчаливым поклоном; Бахтиаров тоже, кажется, не находил, что говорить, и только пригласил ее на следующую кадиль: Лизавета Васильевна колебалась.

– Извольте, – отвечала она после минутного размышления. Оба они простояли еще несколько минут в странном молчании, наконец, Лизавета Васильевна опомнилась и подошла к брату.

– Поль, которая же она? – спросила молодая женщина, не могши скрыть внутреннего беспокойства.

– Ее здесь нет, – отвечал Павел, сидевший все это время в прежнем положении.

– Пойдем, походим, – сказала она, взяв его за руку.

– Нет, я не пойду.

– Бога ради, Поль; ты мне нужен.

– Не могу, сестрица.

– По крайней мере сядь около меня, когда я буду танцевать. Пожалуйста, Поль.

– Хорошо.

Лизавета Васильевна тотчас подхватила какую-то рыжую даму и начала с ней ходить по зале; Бахтиарову, кажется, очень хотелось подойти к Масуровой; но он не подходил и только следил за нею глазами. Проиграли сигнал. Волнение Лизаветы Васильевны, когда она села с своим кавалером, было слишком заметно: грудь ее подымалась, руки дрожали, глаза искали брата; но Павел сидел задумавшись и ничего не видел.

Всю эту сцену видела молоденькая дама, рассердившаяся на Бахтиарова: она видела, как он встал и пошел к Лизавете Васильевне; видела обоюдное их смущение и, сообразивши слова Бахтиарова о неожиданном его счастье, тотчас поняла все.

– Как я сейчас взбесила Бахтиарова! – сказала она, подойдя к даме в очках.

⁷ Приветствую вас, сударыня! (франц.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.